«я» и «он» порождает своеобразие символики стихотворения, все время колеблющейся между тем, что в лингвистической поэтике называют компаративным, и бытийным планом слова и образа [15].

Прежде всего субъект речи в «Недоноске» — «*дух*» («Я из племени духов»). Но он же *вздох* («И ношусь, крылатый вздох»). Его стихия — *воздух* («Пью счастливо воздух тонкой»). Ненастье для него — «*дуновенье роковое*», а «*прах летучий*» его «*удушает*». Так обнаруживается его двойственное положение в мироздании и в мире стихотворения: он есть и сама стихия (воздух), и выделившийся из нее, но одержимый ею субъект (дух). Это видно и из другого ряда образов. Пределом «недоноска» являются «облака» («И едва до облаков / Возлетев, паду, слабея»). И это не только пространственный, но и сущностный его предел: ведь он «дух», «но не житель эмпирея», а эмпирей — «за их (облаков.— *С. Б.*) волнами». «Недоносок» и есть «облако» и в то же время оживленная «оболочка» того, что отпало от бытия. Вновь перед нами и сама стихия, и одержимый ею субъект, и «бытие», и «образ». Сначала «облака», как мы отмечали, были внешним пределом «я» и выступали носителями прямого, бытийного смысла. Но тут же «облака» начали метафоризоваться, притом возникла излюбленная Баратынским — назовем ее разъятой или дифференцирующей — метафора: вместо «волны облаков» поэт сначала говорит просто «облака», а затем «за их волнами». Возникает игра бытийного и компаративного планов, удивительно соответствующая природе самого субъекта.

Далее компаративный план развивается («Ластюсь к ним, как облачко»), но развивается и план бытийный («и до облак»...). Наконец, возникает неустойчивое равновесие бытийного и компаративного планов образа, отражающее его двойственную субъектную природу: «В тучу кроюсь я, и в ней / Мчуся, чужд земного края, / Страшный глас людских скорбей / Гласом бури заглушая». Мы отмечали, что «недоносок» — и «облако», «туча», и одержимый ими субъект; здесь это еще раз обнаруживается с новым оттенком благодаря двузначности творительного падежа. При этом невозможен однозначный ответ на вопрос: «недоносок» заглушает глас людских скорбей при помощи гласа бури как чего-то внешнего ему или являясь сам этим гласом бури?

В иной форме с этой же субъектно-образной двузначностью мы встречаемся в стихотворении неоднократно, сравним: «Но ненастье заревет» и «Вопль унылый я подъемлю». «Я» поднимает вопль потому, что началась буря, или он просто одержим бурей, и у него нет по отношению к ней ни внешней, ни внутренней вненаходимости, ибо он в своей субстанциальной глубине сам есть эта буря? Или: «Плач недужного младенца» и «Слезы льются из очей». Здесь «недоносок» плачет потому, что жалеет младенца (как он сам объясняет), или потому, что он сам и есть этот младенец, по крайней мере он неотделим от него (тут один шаг до «Октябрьского мифа» И. Анненского: «И мои ль, не знаю, жгут / Слезы сердце или это / Те, которые бегут / У слепого без ответа?»)

Совершенно очевидно, что ни одно из этих прочтений в отдельности не исчерпывает смысла стихотворения. Как сам «недоносок» имеет двойную субъектную природу, так и его образное воплощение субстанциально и условно, бытийно и компаративно. При всей неповторимости описанного стихотворения сам характер соотношения в нем субъектной и образной структур типичен для русской неканонической поэзии. Сходные эффекты с неизбежностью возникают в ней в тех случаях, когда субъект речи говорит о себе как о «другом», а возникающая при этом игра компаративным и бытийным планами начинает активно участвовать «в видоизменениях лирического сюжета, создавая, наряду с другими средствами, особый образный рисунок, при котором лирический герой приобретает как бы свое зеркальное отражение, как бы раздваивается, получая возможность посмотреть на себя со стороны» [15, с. 105].

Если взгляд субъекта речи на себя со стороны порождает символиче-